

IV.

„Свой брат“.

Солнце не хотело глядеть на позор Панаса и весь день оставалось за тучами. Хлопья снега попрежнему сыпались с высоты и, не долетая до земли, разрывались от ветра. Панас сидел в темной конюшне и ему было легче оттого, что на дворе не видно солнца, что под небом было так же мрачно и холодно, как у него на сердце. Улита принесла в конюшню кусок хлеба и селедку и, молча положив перед ним, ушла. Панас даже не взглянул на нее и не прикоснулся к завтраку. Ему почему-то казалось, что так именно бывает в тюрьме. Сидит человек в какой-нибудь темной, холодной и сырой конуре, и ему приносят хлеб, молча и сурово, потому что разговор с ним может осквернить чистого человека.

В это время в кабинете батюшки происходило экстренное и чрезвычайное деловое совещание. Висевшие по стенам иконы никогда не слышали здесь таких несдержанных, пылких речей; они, казалось, благословляли, когда раздавалась речь отца Макария, исполненная текстов и христианского великодушия, и хмурились, когда слова, сильные и жестокие, начинали вылетать из уст матушки. В результате, как всегда бывало, матушка одержала верх. Панаса позвали,

Он шел через двор медленно, низко опустив голову, бледный, с полузакрытыми глазами. Он не видел ни старосты, сидевшего на завалинке и зорко следившего за каждым его шагом, ни Улиты, стоявшей на пороге кухонной двери, ни Соньки, робко выглянувшей из-за посудного шкапа, стоявшего в сенях. Он вошел в кабинет и остановился у порога.

— Ударь поклон, Афанасий, и покайся в своем грехе!—сказал батюшка. Панас машинально грохнулся на колени и принялся бить поклоны.

— Встань теперь и слушай, что я тебе скажу.

Панас поднялся, и батюшка принялся излагать ему сущность христианского идеала. «Каждый истинный христианин должен стремиться к самосовершенствованию. Все грехи, все пороки происходят от плоти, от страстей. Надо умерщвлять плоть, дабы дух возвысился и возликовал». Таковы были основные тезисы батюшкиного учения. Далее он нарисовал картину страшного суда и адских мук. Вечный, неугасимый огонь, пламя и дым, вечные муки угрызений преступной совести—вот удел грешника. Зато какая отрада ожидает праведника! Тут следовало описание райского блаженства. Панас должен стремиться к тому, чтобы стать праведником. Мария Магдалина вела греховную жизнь, но потом раскаялась и теперь во святых. То же самое может случиться и с Панасом, если он искренно раскается и по мере сил

своих возвратит все, что унес. Наконец, была рассказана притча о блудном сыне.

— Теперь, Панас,—сказал батюшка в заключение:—я тебя наставил, я исполнил свой пастырский долг... Мы тебя простили—и я и матушка простили тебя... но держать тебя не можем! Иди себе с богом, куда хочешь! Покаяться везде можно! Сходи в Киев, там есть опытные исповедники. Открой одному из них свою душу! Ну, иди с богом!.. Вот тебе твой документ! Это я сам хлопотал для тебя!.. Ступай!—Панас машинально положил бумагу за-пазуху и повернулся к двери.—Постой!

О. Макарий порылся в столике.

— Вот тебе на первое время...

Панас сжал в руке поданную ему рублевую бу мажку.

— Главное,—закончил батюшка:—будь истинным сыном церкви, достигай совершенства!.. Ну, ну, иди, иди! Не надо благодарить!..

Панас тупо выслушал все наставления о. Макария, почти бессознательно схватил его руку для поцелуя и с отуманенной головой вышел из кабинета. Он прошел через двор, мимо конюшни, не глядя ни на что, потом отворил знакомую калитку в город, прошел его и вышел в степь. Перед ним расстилалась бесконечная равнина, вся окутанная белым покрывалом. Холодный ветер пронизывал его до костей; на нем только и было теплого, что сивая шапка да сапоги,

остальное было летнее. Куда итти ему? Ни холод, ни голод, ни потребность рассказать кому-нибудь о своем несчастье—ничто не гнало его назад в деревню. Эта белая равнина, на которой не было видно ни одного живого существа, манила его своей пустотой, своей молчаливостью. Там он не встретит ни одной пары глаз, которая подозрительно оглядела бы его с ног до головы и потом гадливо отвернулась бы, как от нечистой твари. Там шумит только ветер, который не знает человеческих слов и не напомним ему, что он—вор, выгнанный, униженный. И он шел, шел, сам не зная куда и зачем, не чувствуя ни холода ни усталости. Уже Панычево давно исчезло позади его, уже солнце перевалило за полдень, а он не переставал итти с такой энергией, как будто спешил куда-нибудь по важному делу. Наконец, он остановился. Холод как-то вдруг сжал его со всех сторон; он почувствовал, что если ночь застанет его в поле, то он больше не услышит человеческого голоса. А зачем ему слышать человеческий голос? Разве этот голос может сказать ему что-нибудь, кроме обидного слова—«вор»? Разве у кого-нибудь сорвется с уст слово утешения? Степанида и та, даром что любит,—наверно, встретит его этим и еще упрекнет: «вот, дескать, я тебе душу отдала, а ты!»... Но как гордо поднял он голову, когда вспомнил о мамке: он не выдал ее ни одним словом. Все думают, что он пропивал ворованное, а ведь он все это только для нее

и делал. Да, для нее! Пускай целый свет говорит про него, что хочет, но он никогда не узнает, для кого Панас опозорил себя. Да неужели же все поголовно поверили, что матушка благодетельствовала его, а он обокрал ее? Неужели никому не придет в голову, что он что-нибудь же заработал за четыре года, что не даром же он надрывался и потел? Да что же, они все с ума посходили, что ли? Чего он убежал? Он вернется в Панычево, и любой богатый мужик возьмет его в работники. Помещик—и тот возьмет. Еще какую деньгу дадут ему! Разве не все село говорит, что такого работника, как Панас,—поискать поищешь, а найти—не найдешь!

И он повернул обратно в Панычево. Лицо его, раскрасневшееся от холода, казалось, повеселело. «Я покажу, что Панас—не вор! Мне не для чего воровать, ежели хорошо платят!»—мелькнуло у него в голове.

Вот и Панычево. Налево, у самого выхода из большого фруктового сада, помещичий дом—каменный, в два этажа. Через дорогу—вальковая хата под деревянной крышей; здесь живет управляющий. Сюда-то Панас и направил свои стопы. Управляющий встретил его во дворе. Он был веселый человек и потому встретил Панаса смехом.

— Что-о? Ха-ха-ха-ха! Тебя-а? Ха-ха-ха! Да что мне не жаль панского добра, что ли? Поди ты...

Панас попытался было пробормотать что-то на-

счет своей невинности,—что если ему дадут жалование, то не будет необходимости воровать. Но управляющий только хохотал. Панасу оставалось уйти.

«Нет, этому не понять простого человека! Свой, мужик—тот может понять! А эти все заодно»,—утешал себя Панас.

И он пожалел, что необдуманно лишний раз напросился на обиду. Он пошел к «своему брату»—мужику. Немного было в Панычеве таких «братьев», которые нуждались в работниках. Население его почти сплошь состояло из голытьбы, которая сама не знала, как прокормиться; где уж тут думать о работниках! Из мужиков только и было двое: Воденюк, у которого засевалось ежегодно десятин за сто, да еще, пожалуй, Семен Мурашка, который вдобавок к своему наделу забирал у помещика десятка три десятин. Есть еще в Панычеве два богатых человека—это шинкари, но эти земли не засевают, богатства их не от земли идут, и у каждого из них только по одному работнику, которые ездят в город с боченками за водкой. К ним и ходить нечего. Панас решил начать с Семена Мурашки.

Семен Мурашка был в это время дома. Прием, который оказал он Панасу, сразу обещал хороший исход делу. Старик взгляделся в него и узнал.

— А? Тот, что у батюшки!.. Панас? Я тебя знаю. Садись, парень.

Панас не решился сесть. Он продолжал стоять у порога, вертя в руках свою сивую шапку.

— Это ты нехорошо сделал, парень, что обокрал батюшку... Нехорошо это! Он за всех нас душу кладет; как же можно его обижать? Это уж такой грех, что и замолить нельзя... Так-то.

— А в работники, ты говоришь? В работники я тебя не возьму... Нет, нет, не возьму!

— Не возьмете?—спросил, пораженный, Панас.

— Никак, никак... Это чтоб я твой грех на свою душу взял? У меня своих довольно!.. И так спина от них гнется! Не знаю, как и донесу их туда, перед судию!.. А а!.. Как можно, как можно, чтобы я тебя взял, паренек! Невозможно! Ты не гневайся! На старика нельзя гневаться! Грех! А я тебя не возьму!..

— Прощайте!—промолвил Панас каким-то резким, сухим голосом и почти выбежал из хаты.

Уже начинало темнеть. Кое-где на завалинках сидели бабы и вели беседу о разных деревенских делах, а больше всего о ночном событии у батюшки.

Панас шел серединой улицы, стараясь не глядеть по сторонам. Он хотел, чтобы его не заметили, и едва слышно ступал по дороге, выбирая те места, где была мягкая земля. До ушей его долетали отрывочные фразы, и он тотчас же узнавал, что везде, во всех кружках речь идет о нем, как будто во всей деревне разом пропали все другие заботы.

— Не даром он и на свет появился не по-людски, — говорили в одном месте. — Из проруби! Чудесное дело! И тогда еще бабы сказывали — не к добру!

Панас быстро проходил дальше, не рассчитывая услышать что-нибудь приятное. Но вот опять кучка собеседниц, и до него долетает:

— Ежели бы это матушке бог не помог... беда была бы!.. Гляди, всю деревню растаскал бы... Уж это верно. Это так!.. Такое уж племя...

Панас ускорил шаги, но его уже догоняет из третьего места:

— А ты думаешь, он один?.. Как же! Мамка-то его, сказывают, не с пустыми руками сбежала!..

— Так это, значит, у них как бы компания...

Панас, со злобой сжимая кулаки, быстро повернул к полю. Он сильно боялся, что его заметят. Чего доброго — подымут на смех, снегом закидают! О, этот «свой брат» — узнал он его! Все они одинаковы. У кого есть хоть чуточку побольше собственной шкуры, так тот уже на него чортом смотрит. А не дальше, как вчера, — все были его приятелями. «Панас! Панас! Куда идешь?» «Панас, заходи на чарку водки!» Девки то и дело заигрывали с ним. А теперь — пройдишь-ка, — разве в лицо кто-нибудь плюнет! Да и он всех их ненавидит, — плевать ему на них. К Воденюку, он, конечно, не пойдет. К чему? Чтобы еще раз выслушать все те же обидные слова? Но куда же? Куда? К Ереме? Да если бы его золотом всего забросали, так и то

он туда не заглянул бы. Что может сказать ему этот добрый бедняк? Он, конечно, примет Панаса. Скрепя сердце, даст ему ночлег и будет с ним ласков, обходителен. Да что он будет чувствовать? Завтра узнают соседи и скажут: «должно быть, он с Панасом в компании состоял»... Ни за что! А как посмотрит на него теперь Горпина? Э, уж теперь она никак не посмотрит на него; отвернется, спрячет глаза свои—эти кроткие, добрые, в душу проникающие глаза, чтобы не показать написанного в них упрека.

Он шел полем, где не было дороги. Ноги его глубоко зарывались в снег, он изнемогал от холода, голода и полученных за день обид. Куда итти? Не растянуться же ему среди поля и не ждать, пока голодный волк придет и засверкает над ним своими огненными очами. А темная ночь все ниже и ниже спускала над землей свое тяжелое покрывало. В деревне уже не видно ни одного огонька. Все спит, только он против воли бодрствует, неся по широкому полю свой позор. Все ли? Как? Неужели и Степанида спокойно сомкнула очи и, зная, что над ним стряслась беда, не ждет его, не подходит тревожно к окошку и не выглядывает на улицу? Не может этого быть. Она не спит, не такая она. Она терзается за него.

Так он же и пойдет к ней! Нет, уж видно, не в добрый час сошлись они... А вместе и страдать как-то легче.

V.

Теплая хата.

Степанида с утра еще узнала о событии, случившемся у батюшки на городе. Она шла по воду, когда ей встретилась Сонька.

— Тетка! А у нас беда,—сообщила ей Сонька и при этом боязливо оглянулась по сторонам.

— Какая там у вас беда?—небрежно и не останавливаясь спросила Степанида.

— Беда с Панасом... Его поймали!

Степанида чуть не уронила коромысло с ведрами. Она кинула злобный взгляд на Соньку, уверенная, что та опять хочет издеваться над нею.

— Тетка Степанида, я не смеюсь, я взаправду... И вы меня не бойтесь! Потому, хоть я и знаю, а пусть мне голову отрежут—никому не скажу.

— Что знаешь? Что ты знаешь?—задыхаясь прохрипела Степанида. Они уже спустились к Днепру. Степанида с шумом швырнула ведра на каменистый берег.—Что ты такое знаешь?—повторила она.

— Знаю я то, что видела. И на балке по ночам, и про зимние ночи. Говорю—не бойтесь, тетка... Пусть живут закопают—не скажу!..

— Не скажешь!—сквозь зубы процедила Степанида и ухватила за ведро, но сейчас же опять швырнула его.

— А Панаса поймали!—продолжала Сонька.

— Где поймали? Что ты такое городишь? На чем?

— Ночью сегодня... Сама матушка... Он тащил мешок на плечах... Всякое добро там... ворованное...

— Ворованное?! Панас воровал?! Ты брешешь, должно быть, проклятая! Хочешь разбесить меня...

— Побей меня бог на этом самом месте! Чтоб я в камень превратилась, если тут есть брехни хоть одно слово!.. Он давно уже таким манером. И кожух свой, и хомут новый, и сало, и жито, и овес, и гусей...

— Панас? Панас?!—бледнея, спрашивала Степанида.

— Панас!—ответила Сонька убитым, гробовым голосом, как будто закончила надгробное слово и собиралась бросить последнюю горсть земли на могилу Панаса.—Он все это к мамке своей носил, к Параске!

— А-а! К мамке!..

Теперь Степанида совсем поверила. Для нее вдруг стало ясно, почему Панас в последний год так редко бывал весел и почти никогда не говорил ей о своей мамке; почему в его глазах так часто читала она тревогу, и он отворачивал голову, когда она всматривалась в эти глаза. Все поняла Степанида и допустила, как ни горько ей было допустить это про своего милого. Какой жестокий удар получило ее страдавшееся сердце! А тут еще эта Сонька бросает ей в лицо напоминание о летних ночах на балке и о зимних свиданиях у нее в хате. Она клянется, что никому не скажет. Да разве этому можно поверить?

Разве она не такая же баба, как все прочие? Разве баба может удержать на душе то, что узнала про соседку? От нее еще надо ждать самого худшего. Не даром же она подглядывала, не даром ходила за Панасом, как верная собака.

— Его уже прогнали!—продолжала свои сообщения Сонька.—Пошел степью куда-то... Ох, что-то с ним теперь будет?! Тетка Степанида! А я так прямо сбегу от нее... Мочи нет!..

Степанида с трудом поднялась на гору. Ей казалось, что все вокруг нее движется и шумит, что ведра с водой валятся с плеча ее на землю, что Сонька, убежавшая вперед, чтобы их не видели вместе, скалит теперь зубы и гогочет на все село.

Когда на дворе стемнело, Степанида зажгла «каганец» и с напряженным вниманием прислушивалась к малейшему стуку на улице. Она боялась, что придет Панас, но в то же время хотела, страстно желала, чтобы он пришел.

Тихий стук в окно заставил ее одним прыжком очутиться у двери. Когда она отворила дверь, слабый луч света упал на лицо Панаса. На этом лице лежал отпечаток всех тех обид и мучений, которые испытал он в этот долгий день, начавшийся с полночи. Ни быстрая ходьба, ни мороз, ни злоба—ничто не могло вызвать в лице его румянца: оно было бледно.

— Не пожалел тебя... пришел!—хриплым голосом

промолвил Панас и остановил на лице Степаниды свой тревожный взгляд.

Степанида поняла, что он голоден, и в одну минуту, не произнося ни слова, поставила на стол миску с похлебкой и кусок житного хлеба. Панас был очень голоден и, не медля ни минуты, принялся есть. Оба они молчали, и Панасу, повидимому, было приятно это молчание. Степанида сидела у другого конца стола, опершись на стол локтями и закрыв лицо обеими ладонями. Вдруг Панасу показалось, что она плачет. В один миг он отшвырнул от себя миску с похлебкой и сидел уже рядом со Степанидой.

— Степанида, голубка моя, не надрывайся!—дрожащим голосом говорил он, стараясь отнять ее руки от лица и заглянуть ей в глаза. — Не верь ты им, этим чортовым бабам!.. Я не такой еще злодей, как говорят они!.. Ты же знаешь Панаса! Знаешь?.. А что я не говорил тебе, так это от жалости... Жалел тебя, Степанида. И боязно было. Что, думаю, как она отшатнется? А? Больно дорога ты мне... А я все расскажу тебе!

И поток воспоминаний неудержимо полился из его уст. Он припомнил все до мельчайших подробностей, начиная от глубокого детства и кончая своим позором. Но и там, в детстве, разве не было позора? Разве не позор—полуобнаженному, голодному униженно протягивать руку за милостыней первому встречному? И вся жизнь его была соткана из

обид и унижений. Это шлѣнье по чужим людям, это постоянное напоминание о благодетельстве, о даровом жалованном хлебе. Не проходило дня, чтобы кто-нибудь не намекнул ему, что его мамка—негодная, низкая женщина. И он видел эту мамку и должен был сознаться, что ниже уже нельзя опуститься. Пьянство, нищенство, воровство и разврат—вот в какой компании видел он ее постоянно... И разве мог он спокойно смотреть на это, когда другие живут по-человечески и когда у него есть здоровые руки, чтобы заработать, как всякий другой работник? Он воровал у матушки—это правда. А разве она не воровала у него его каторжный труд? Разве он не косил ей летом, когда косарь получал по два рубля в день? Разве не на его плечах лежало все ее хозяйство и разве этому хозяйству не отдавал он все свои силы? За это хорошие хозяева платят работникам по сотне рублей в год, а она что дала ему? Пускай дадут ему время оправиться, и все увидят, что Панасу не для чего воровать, когда за его труд платят по-человечески. Только к ней, к матушке, он уж не пойдет, нет! А если и пойдет, то разве для того, чтобы напакостить ей. О, она его допекла! Всегда допекала, а в этот день еще опозорила. Созвала полдеревни, все приготовила, все подстроила, чтобы увеличить его позор!.. Ну, она дождется своего! Этот долг навсегда останется за ним, пока он не выплатит его сполна.

— Что ты сделаешь? Что ты хочешь сделать?— с испугом спросила Степанида.

— Ничего!.. Что я могу сделать? У меня отрезаны руки!.. Ничего не сделаю! А что я сделал бы?.. Знаешь, Степанида, мне сегодня приходило в голову... спалить ее, проклятую... с четырех сторон!..

— Ох, господи!

— Не бойся. Я не стану пачкаться!.. Ничего я не сделаю. Пускай уж бог разберет ее и меня! Что-то там теперь мамка делает? Должно быть, с голода околевает... Знаешь, Степанида, я не пойду к ней. Что игги с пустыми руками? Прежде потолкаюсь между людьми, не сыщется ли где работа. Пойду в город на пристань—мешки таскать... Я видел, как их таскают. Гнется человек, натужится, кричит, словно из него душа выпирает... А все-таки таскает, таскает... потому—жрать надо!.. Вот и я пойду туда! Ничего, не сдохну. Мне надо убраться от тебя пораньше: неровен час, какая-нибудь соседка-сорока углядит—так тебе и житья не будет!.. Э, не тужи, моя голубка! Что плакать! Вот погляди на мои руки!—крепкие, как железо! Вывезут. Еще как вывезут! О-го-го!

Петухи прокричали в первый раз, когда Панас заторопился. В хате давно уже был потушен огонь, чтобы не обратить внимания людей. Сердце у Степаниды билось спокойно. Он утешил ее своими долгими, тихими, сердечными речами и горячими поцелуями. Все пройдет, все поправится и нечего тужить. Он бу-

дет заглядывать к ней в темные ненастные ночи. Тот сладко будет пригреться ему у горячего сердца своей милой. И она на прощанье прижалась к нему с таким нежным спокойствием, как будто все уже было улажено и завтра они увидятся при самых лучших обстоятельствах.

Панас неслышными шагами пробирался далекой, обходной дорогой. Когда село осталось совсем позади его, он обернулся и остановился на минуту.

— Прощай, Панычево, и ты, Степанида! Приведет ли бог еще свидеться? И ты, Горпина, и ты, Сонька! — мысленно проговорил он. Потом лицо его перекопилось от злобы. — Ну, прощай же и ты! — прибавил он, потрясая в воздухе своим могучим кулаком и представляя перед собой величественный образ матушки. — Только дай тебе бог не свидеться с Панасом!

И он быстро зашагал по направлению к городу. Ночной холод погонял его. Вот уже небо просветлело и видна слободка. Вон — Параскина лачуга... Но он прошел мимо и взял путь через город прямо к пристани. Здесь с рассветом началась работа, и его руки и спина пригодились.

VI.

Сонькина карьера.

История Панаса долго еще служила неистощимой темой разговоров для панычевцев.

Но мало-по-малу она сошла с репертуара деревенских бесед. Про Панаса как будто совсем позабыли; к лету о нем уже не упоминали. Но зато на сцену явилась новая, свежая тема, которую подарил панычевцам не кто иной, как Сонька.

В тот день, когда Панас, по награждении рублем «на первое время», был великодушно выгнан из батюшкиного дома, матушка увидела себя в беспомощном положении. Точно вместе с Панасом вынули из-под ее дома фундамент и дом грозил каждую минуту обвалиться. Все держалось на Панасе. Не говоря уже о том, что никто не умел так хорошо содержать лошадей, как он,—на нем лежала высшая забота о всей птичье, игравшей в хозяйстве очень важную роль. Он, и один только он, знал счет гусям, индейкам и курам, и характер каждой из них. Он же и пахал, и косил, жал камыш. Словом, в хозяйстве он был все, и матушка поняла это, а вместе с тем и свою ошибку уже через три месяца после ухода Панаса, т.-е. тогда, когда начались полевые работы и когда она совсем убедилась, что Панас не вернется к ней с униженной просьбой, чтобы она «вила из него веревки». Тогда она поняла, что дело велось не так, как следует. Панасу следовало платить жалованье и зорко следить за ним—и из него вышел бы редкий работник. Все это матушка поняла, но даже себе самой не захотела сознаться в этом. Напротив, ее ненависть к Панасу возросла теперь до

неимоверных размеров, и она не могла себе простить, как тогда отпустила его на волю. Нет, его нужно было связать и передать суду. Пусть бы посидел в остроге.

Как бы то ни было, а без работника оставаться не приходилось. Время, между тем, было такое, когда порядочный работник ни за что не найдется на год, а если и найдется, то запросит такую сумму, которую матушка считала решительно неприличной для работника. В это время Степка, успевший уже вкушать сладости семейного счастья, пришел к матушке просить работы. Он был голоден, худ и оборван. Жинка его, Гапка, начала уже пухнуть от голодовки. Был у него и сынишка, но этого бог прибрал к себе. Тяжело было матушке сдавать свое образцовое хозяйство на руки этого неумелого, глупого и ленивого раба, но она все-таки сдала, удвоив собственную энергию. Разумеется, Степка не получал жалованья, работал за хлеб, который делил с Гапкой. За него матушка по крайней мере не боялась, что он станет воровать. А если и станет, то сейчас попадетсЯ, потому что глуп, как стадо индюков.

Но ни на ком так не отразился уход Панаса, как на Соньке. Никогда прежде она не была охотницей до работы, за что и принимала ежедневно казни от руки матушки. Но она по крайней мере делала вид, что занята, «у нее была хоть совесть», как определяла матушка; теперь она «ходила, как очумелая»

и, «потеряв всякую совесть», вела себя так, как будто была у матушки в гостях. Сядет себе где-нибудь в укромном уголку и вздремнет тут же, а в это время, глядишь, самовар уже вскипел и поднял целую бурю.

— Эй, ты! Солоха! — вдруг изо всей силы толкнет ее матушка в бок.

Сонька вскочит, обведет комнату взглядом и опять присядет, не понимая или не желая понимать, в чем дело.

— Самовар готов! Ступай, сними трубу! Приготовь стол! — вразумляет матушка, подкрепляя свои доводы пинками.

— Сейчас, — рассеянно бормочет Сонька и тем не менее вновь погружается в дремоту.

Тогда матушка, очень ловко прицелясь, обеими руками хватает ее за волосы и таким манером тащит ее через двое сеней во двор, где стоит разгневанный самовар.

— Вот тебе! Видишь? — и тут еще прибавляет несколько эпитетов.

Сонька начинает возиться около самовара. Все у нее шумит и гремит. Посуду ставит она на стол с таким треском, что испуганные собаки, если им случайно пришлось быть в это время у крыльца, разбегаются. Крышка приколачивается к самовару так энергично, что потом ее нельзя снять без помощи железного орудия.

— Нет, это уже из рук вон! Девка сошла с ума! — говорит матушка, но отчего девка с ума сошла, — этот вопрос остается неразрешенным.

Однажды во время обеда, когда у батюшки были в гостях становой пристав и его письмоводитель, Сонька услышала маленький отрывок из разговора.

— Я его простила, я никогда зла не помню! — говорила матушка.

— Вот это и жаль-с! Вот этим мы и балуем народ! — заметил становой пристав. — Простили! А попадись он мне на глаза, — не будь я становой пристав, если я не засадил бы его в острог! И засажу-с!

В это время Сонька держала в руках тарелку с пирогами. Решимость станового пристава повлияла на нее так, что она выронила тарелку, которая тут же и разбилась, а пироги разлетелись по разным углам передней. Матушка, разумеется, немедленно выбежала на шум, и так как дверь из столовой была открыта, то она сообразила, что Сонька подслушала разговор. Тут же она сняла и настоящую причину гибели тарелки и постыдного поведения пирогов.

— Э-э-э, девка! Так вот оно что! Так вот отчего она от рук отбилась! Страдаешь по Панасу? а? Ишь какая кобыла выросла! Немудрено — отъелась! Испугалась, что его в острог посадят? А? Ну, так что ж? И ты проворуйся! И тебя посадят! Вот и будете вместе сидеть!

На этот раз, по причине близости гостей, пре-

ступление Соньки осталось ненаказанным. Но зато с этих пор матушка пользовалась всеми случаями, чтобы попрекнуть Соньку Панасом. Когда она бранила ее, то не иначе, как называя «любовницей Панаса» и другими синонимичными, менее скромными словами, но непременно приурочивая их к Панасу. Когда она таскала Соньку за волосы или просто многократно опускала на ее голову свою тяжеловесную руку, то непременно мотивировала это так: — Уж я выбью из твоей головы Панаса!

Сонька, действительно, томилась по Панасе. Работа опротивела ей до такой степени, что она сознательно осуждала себя на все обиды, пинки и тасканье за волосы со стороны матушки, лишь бы только ни к чему не прикасаться. Оттого ли, что ее разнеживали постоянные грезы о Панасе, о жизни вместе с ним, — жизни, которая представлялась Соньке в самых реальных формах, при чем ее чувственная натура сводила все к ночной темноте, к уединению; оттого ли, что во все время служения у матушки Соньке приходилось слишком мало спать, — но ее постоянно тянуло ко сну: стоило ей только присесть, как она уже спала. Спала она и на ходу, с открытыми глазами, и оттого, должно быть, у нее все валилось из рук. Но вдруг однажды в ней как будто проснулась какая-то новая сила, еще незнакомая ей, никогда не бывшая в ее груди. В один день узнали, что прежней сонливой, ленивой и глупой Соньки не

стало. Сонька что-то придумала, и это что-то совсем преобразило ее. Матушка узнала это самым неожиданным образом. Однажды Сонька разбила стакан. Со стороны матушки было самым естественным движением — протянуть обе руки к Сонькиным волосам и поступить с ними с обычной строгостью. Она это и сделала. Каково же было удивление матушки, когда Сонька не только не облегчила ее труд (подставив голову под ее руки), но даже затруднила, отскочив от нее на два шага. Матушка, без сомнения, последовала за ней. Но тут в глазах Соньки она увидела опасный огонь.

— А ну, попробуйте! — сказала Сонька, став в вызывающую позу.

— Что о? — произнесла матушка, все еще не опускавшая рук, что придавало ей такой вид, будто она собиралась благословлять Соньку.

— Попробуйте! — повторила Сонька, отступив еще на один шаг, и лицо ее в это время было совсем не то, какое привыкла видеть матушка. Откуда появилось на нем выражение удачи, задора, самоуверенности!

После этого матушка опустила руки, но не решилась произнести окончательный приговор. Она просто не понимала, что такое тут делается и как это могло случиться. Это новое выражение так мало шло к Соньке, так было ей непривычно; за ней так прочно укрепилась роль глупой, безответной рабы,

что допустить серьезно такую перемену не было никакой возможности.

Однако, в жизни приходится допускать невероятные вещи, и матушка скоро убедилась, что Сонька не шутит. К вечеру в ее поумневшей голове решение окончательно созрело, а к утру Соньки не оказалось в Панычеве. Тогда матушка поняла вчерашнюю сцену. Она даже не удивилась и не особенно сильно негодовала. В последнее время Сонька была мало полезна и только портила ей кровь. Кроме того, матушка успела уже привыкнуть к людской неблагодарности, так как Сонька убегала уже третьим номером. Неестественным казалось только одно обстоятельство — именно то, что, по самым тщательным изысканиям, решительно все более или менее ценные предметы в хозяйстве матушки оказались неприкосновенными. Неужели отсюда следовало заключить, что Сонька ушла с пустыми руками, не прихвативши ничего «на первое время»? О, нет. Это было бы невероятно, и нет сомнения, что впоследствии окажется какой-нибудь значительный недочет. Так, по крайней мере, утверждала матушка не по злобе, а единственно потому, что была глубоко в этом уверена.

А Сонька направилась в город. У нее не было ни копейки денег, ни куска хлеба, ни души знакомых. Она не знала расположения улиц и домов. Когда она уходила из Панычева, у нее была единственная мысль — о Панасе. В городе она встретится с ним.

Он теперь зарабатывает много денег и возьмет ее к себе, как обещал в ту ночь. Но первый шаг в городе показал ей, что здесь не так легко встретить знакомого человека, как в Панычеве. И она бродила, как в лесу. Она исходила все улицы, побывала у Днепра, видела пароход, зашла в две церкви. Но Панаса нигде не встретила. Так прошлялась она почти целый день. В час сумерек голод подсказал ей убийственную мысль, что на свете может быть положение еще худшее, чем работницы у панычевской матушки. Еще бы. Наступает ночь: Сонька голодна и у нее нет ночлега. Когда на базаре торговли покинули места, заперев свои подвижные лавочки, когда возы приезжих мужиков медленно уехали за город и базар превратился в обширную пустынную площадь с одним тусклым фонарем посредине,—Сонька стала взором искать местечка, где можно было бы присесть. Ее растерянный вид и боязливые взоры сразу обнаруживали в ней существо, которое не знает, что с собой сделать. У нее не было товарищей. Бродяги и люди ночных профессий выбирали для ночлега места менее видные; она же, как нарочно, останавливала свое внимание на площади. Это оттого, что ей было все равно. Она не знала ни городских обычаев, ни благодетельной внимательности городских. Она боялась только, чтобы не занять чужого места. Когда она начала было уже приспособляться у одной из наиболее жалких лавчонок, мимо нее прошмыг-

нула тонкая, высокая и чрезвычайно вертлявая фигура с темным лицом. Это, конечно, было не случайно, потому что очень скоро человек этот возвратился, но на этот раз прошел уже медленней и поближе. В третий раз он был от нее всего шагах в пяти и уже довольно пристально оглядывал ее. Он охотился за нею совершенно так, как охотятся на дроф. Проходя в четвертый раз, он остановился в двух шагах от Соньки и промолвил тихо и чрезвычайно ласково:

— Бедная девочка! Она тут хочет спать!

Сонька не знала, как отнестись ей к незнакомцу, — благодарить ли его за ласковое участие, или ждать от него обиды.

— Ничего! — сказала она и отвернулась лицом к лавочке.

Тот с минуту поглядел на нее и исчез. Но скоро он опять прибежал, и на этот раз уже не прохаживался, а прямо подошел к Соньке.

— У меня есть местечко!.. славное такое! Хочешь, сведу тебя? а?—шопотом произнес он.

Сонька молчала, потому что он стоял очень близко, и она боялась его.

— Ну? Говорю — просто прелесть. Веселое местечко,—нетерпеливо продолжал он.—Хочешь?

— Нет! — ответила, наконец, Сонька. Она не понимала, о каком местечке он говорил, но ей просто было страшно.

— Отчего нет?

— Нет!—повторила Сонька.

Человек сделал кислую мину и исчез во мраке. Он больше не возвращался. Сонька очень плохо проспала ночь. Проснувшись она до зари и поспешила уйти, боясь, чтобы ее не застали торговки. В этот день голод страшно мучил ее. На базаре то и дело попадались на глаза съестные и притом, как ей казалось, невероятно вкусные предметы: бублики, колбаса, копченая рыба, жареная печенка; вид их почти вызывал у нее слезы. Напрасно она заглядывала в лицо всякому прохожему,—ни один из них не был Панасом. Хоть бы Параску встретить, —но Параска тоже не являлась. В этот день она уже с трудом ходила и после полудня бессильно опустилась на каменную ступеньку у большого магазина. Голод терзал ее. Вчерашний незнакомец медленно дважды прошелся мимо нее и кинул ей два-три взгляда. Она разглядела его. Он вовсе не был страшен, а скорее—жалок. Худое и до невероятности бледное лицо с выдавшимися скулами, ввалившимися щеками; узенькая борода; согбенная спина; длинные руки с бледными, вытянутыми пальцами находились в постоянном движении. Нет, куда ему обидеть! Он сам чуть не валится от ветра. Но на этот раз он не подошел к ней и не сказал ей ни слова: Опять наступила ночь. Сонька еле добрела до места вчерашнего ночлега. Она чувствовала, что в эту ночь может умереть

с голода, и во всяком случае завтра едва ли в силах будет подняться. А человек с тонкой фигурой был уже здесь.

— Н-ну?—кратко спросил он.

Сонька машинально поднялась и последовала за ним.

— Я есть хочу!—сообщила она ему по дороге.

— Будет! — отвечал он: — о, еще как хорошо! Говядина, говядина а?

Сонька вздрогнула при напоминании об этом вкусном, питательном блюде. Они шли пустыми улицами, часто поворачивая в узкие, грязные и косые переулки. Вон вдали замелькали два больших фонаря и осветили фасад одноэтажного каменного дома.

— Это!—сказал проводник, указывая на освещенный дом.

Фонари помещались у крыльца. Сквозь полурастворенные окна слышались музыка, пение, крики. Сонька смутно предчувствовала, в чем дело. Она только не знала этому имени. Она не то что испугалась, но ей показалось как-то дико--войти в этот дом, где так много людей, и притом веселых и сытых людей. Ее засмеют с ее жалкой одеждой и широким лицом. «Говядина, говядина»,—явственно повторилось у нее в ушах, и словно что-то толкнуло ее вперед. Они не вошли через крыльцо, а повернули во двор.